
ПСИХОЛОГИЯ МАСС И ПАРТИЙ В РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ: ОТ ФЕВРАЛЯ К ОКТЯБРЮ 1917 Г.

П.П. Марченя

Кафедра философии
Московский университет МВД России
ул. Академика Волгина, 12, Москва, Россия, 117437

В центре внимания статьи находится проблема психологического взаимовлияния политических партий и масс. Психология масс и партий рассматривается как основной фактор истории России в 1917 г., вне осмысления которого невозможно постичь логику русской революции в целом. Массовое сознание рассматривается как доминанта политической истории и социокультурная основа победы большевизма в конкурсе политических партий от Февраля к Октябрю.

Ключевые слова: русская революция, «смута», психология, политические партии, массы, массовое сознание, Февраль 1917, Октябрь 1917.

Историография русских революций насчитывает немало исследований, специально посвященных «борьбе политических партий за народные массы», методологической основой которых является миф о наличии прямой взаимосвязи между текстами партийных программ и реальным успехом у масс тех или иных конкретных партий. Кратко представим контуры иной — социокультурной, по преимуществу социально-психологической, — модели анализа взаимовлияния российской многопартийности и масс, на первое место ставящей проблему психологической адекватности партий реальному контексту отечественной истории, ее социокультурной «почве». В качестве фактической основы выберем материалы февраля-октября 1917 г., отражающие соперничество кадетов, эсеров, меньшевиков и большевиков как наиболее значимых общероссийских партий в период от провозглашения демократии до установления диктатуры.

Этот небольшой, если судить по календарю, срок сконцентрировал в себе целую историческую эпоху. Многим тогда казалось, что Россия «беременна свободой» и вот-вот счастливо разрешится от бремени. Но история распорядилась таким образом, что преждевременно празднуемая пришедшими на смену самодержавию политическими силами «российская демократия» за эти 8 месяцев оказалась не только недоношенной, но и мертворожденной. А власть ее правительства, как торжественно объявил 25 октября Л.Д. Троцкий, «была мертва и ожидала удара метлы истории, которая должна была ее смести» (1). Триумфальные слова представителя победившего большевизма знаменательно совпадают с пораженческой формулировкой кадетского профессора К.Н. Соколова, с горечью констатировавшего, что «правительство демократии» стало «политическим трупом задолго до «хирургической операции 25 октября» (2).

Почему непопулярные и немногочисленные поначалу большевики стали партией победителей, а изначально более известные, образованные и уважаемые кадеты (а немногим позже и меньшевики с эсерами) превратились во «врагов народа»? Представляется очевидным, что ответа не найти на страницах программ на-

званных партий хотя бы потому, что абсолютное большинство населения России не читало партийных программ — ни тогда, ни теперь. Если люди блестяще образованные (как, например, Ф.Н. Плевако) даже при «сознательном» вступлении в партию заявляли: «Программа мне не интересна, это предисловие к книге. Кто его читает?» (3), то чего было ожидать от крестьян и солдат (тем паче от крестьянок и солдаток), впервые призванных выбрать «свою» партию в условиях, когда «каждая партия своих соседей ругает «буржуями». Социал-демократы называют социалистов-революционеров буржуазной партией, социалисты-революционеры не признают настоящими социалистами ни народных социалистов, ни своих товарищей по партии, которые требуют войны до победы над немцами. Среди социал-демократов тоже междоусобие: большевики ругают меньшевиков буржуями, а меньшевики доказывают, что большевики — мелкобуржуазная партия» (4). Если такая ситуация установилась в центре, что сказать о положении в регионах? По сообщению самарской кадетской газеты «Волжский день», «в провинциальных уездных городишках совершенно нельзя установить, к какой партии принадлежит тот или иной общественный деятель. Вчера был социал-демократ, сегодня — социалист-революционер, а завтра он будет, наверное, кадетом. Никакой партийной дисциплины и чистоты. Социал-демократы вступают в блок с явными черносотенцами, социалисты-революционеры с какими-то беспартийными субъектами» (5). Для «простых людей», дезориентированных невиданной «демократией», программы всех партий первоначально были неотличимы друг от друга. По их свидетельству, понять можно было лишь одно: «...все эти партии на разные лады хвалили свои программы и, ратуя за свободу, предлагали рабочим, солдатам и крестьянам свое руководство, а на словах давали обещание устроить всем хорошую жизнь и полное довольство» (6).

Даже партийные деятели зачастую не интересовались текстами партийных программ. Так, А.Ф. Керенский признавался: «Было очень утомительно выслушивать нескончаемые обсуждения научных и совершенно нежизнеспособных программ. Я всеми силами этого избегал... В тот момент меня меньше всего интересовали политические программы. Я был слишком захвачен грандиозной таинственной неизвестностью, к которой нас неудержимо влек головокружительный ход событий. И говорил себе, что ни программы, ни дискуссии не ускорят грядущего и не отменят случившегося. Революцию порождает не только мысль, она протекает из самых глубин человеческих душ и сознания» (7). И действительно, как отметил крупнейший отечественный историк психологии (или «психопатологии») «красной смуты» В.П. Булдаков, «если в смутные времена кто-то выигрывает, кто-то чаще бесповоротно — проигрывает, то из этого не следует, что восторжествовали чьи-то программные установки», ибо «в российской смуте все решают не формальный электорат, а неформализуемые движения души» (8).

Причем сами партии «являли собой живые организмы со сложной внутренней жизнью, а вовсе не закрытые, скованные жестким дисциплинарным панцирем организации» (9). Подобные выводы современных исследователей живо перекликаются с мнениями политических деятелей прошлого. Еще И.И. Петрункевич считал,

что российские «либералы, радикалы и революционеры» различались не политическими целями, а темпераментом» (10). Поэтому и эффективность партийной пропаганды определялась не качеством выражения группового сознания, а способностью «цеплять» коллективное бессознательное. Наибольшие шансы на успех получала партия, максимально использующая ресурс народной психологии. Приведем характерный пример. «Саратовский Вестник» воссоздает аутентичную картину «состязания с.д. миннезингеров», типичную для любой российской губернии. Описывается спор двух видных местных партийных деятелей — меньшевика (Майзеля) и большевика (Мгеладзе): «— Чем вы объясните наш успех в массах? — победоносно вопрошал мгеладзевский фальцет. — Разве мы так талантливы или умны? — О, нет, — гремел меньшевистский бас — вы не талантливы и не умны... Вам кажется, что вы руководите массой, бросая в нее ваши демагогические лозунги, в действительности — вы идете за нею... О каких же тут талантах или уме может быть речь? И когда гражданка Верхнего базара кричит гражданину в шляпе, предложившему ей вместо 60 к. — 40 за фунт вишни: — Буржуй проклятый! Кишки бы тебе выпустить! — То в действительности не тов. Мгеладзе является ее учителем, а она подсказывает товарищу Мгеладзе, как литературно формулировать лозунг» (11).

Но и умение оперативно пользоваться ситуацией с помощью адресно подобранных лозунгов не гарантировало долговременного эффекта суггестивного воздействия агитации на массы, если агитатор не имел постоянной «обратной связи» с аудиторией и его лозунги не питались непрерывно реальной энергией масс. По выражению М.П. Томского, «оперирование с настроениями широкой массы есть оперирование с несколькими неизвестными» (12). В прессе 1917 г. можно встретить такие описания воздействия политической пропаганды: «Если же вы красноречивы и знаете психологию крестьянина... если можете силой своего голоса прекратить не только громкую беседу, но и шепот, если можете забраться в самое сердце этого честного и загадочного дикаря, то успех обеспечен. Вы превратите всю эту массу отдельных личностей в одно громадное, решительное и преданное вам существо. Это существо — ваш раб и враг смертельный противника вашего. И если явится какой-то смельчак, чтобы высказать кой-что не в вашу пользу, то, в лучшем случае, ему не дадут говорить... И если кто-либо из товарищей после такого удачного выступления подумает, что здесь все сделано, что народ разделяет с ним одни и те же мнения, что он раз навсегда доказал правоту того, что излагал слушателям, то такой товарищ непростительно ошибается. То, что случилось сегодня — случилось каким-то чудесным образом. Завтра многие придут в себя и скажут, почесывая затылок: — Одурачил. Собеседник сразу соображает, о чем идет речь, и в тон отвечает: — Здорово, куманек, оболванил» (13).

Участниками и исследователями революции давно подмечено: «Всякое умственное общение есть двусторонний процесс, зависящий от свойств и особенностей психического аппарата обеих сторон, и если мы хотим добиться правильного понимания нашей мысли, мы должны считаться с особенностями аппарата воспринимающего. В противном случае могут получиться самые прискорбные по-

бочные психологические рефлексy и ужасающие искажения, как это случилось ныне с такими понятиями, как демократия, социализм, буржуазия и т.д. Мы должны помнить вообще, что коллективная психология есть нечто в высшей степени сложное, полное явлений иррациональных и капризных: иной раз легко вызвать в ней бурю, но трудно эту бурю потом утишить» (14). Современные ученые также подчеркивают актуальность психологической составляющей в политическом процессе: «Крупным социальным катаклизмам всегда предшествуют психологические явления — рост популярности определенных идей или лидеров, разочарование в старых богах, падение доверия к традиционным институтам. К октябрю семнадцатого значительная часть населения России, по крайней мере — большая часть жителей Петербурга и Москвы, не верили царю и не уважали его, а весьма влиятельная группа подданных империи — петербургский гарнизон, рабочие питерских предприятий, пришедшие с фронта вооруженные солдаты — поверили Ленину в том, что именно большевики способны дать мир, землю и все остальное, о чем мечтали люди. Без этой психологической составляющей октябрьские события никогда не стали бы Революцией, а остались бы в истории лишь как еще один неудавшийся переворот. Собственно говоря, и сама основа политической системы большинства современных государств — регулярные выборы — есть во многом явление психологическое. Люди голосуют за тех, кому верят, за тех, с кем легче идентифицироваться, за тех, наконец, кто красивее» (15).

С психологами солидарны историки, ставящие «вопрос об особом эмоционально-психологическом преломлении объективных экономических и социальных противоречий России в общественном сознании, обусловившем своеобразие революции. Поэтому центр тяжести в анализе событий революции стоит перенести на ментальность и, особенно, психологию масс — именно они позволяли «упасть» или «удержаться» той или иной политической верхушке... Движение масс следует оценить не по критериям политиков... а на фоне традиционной политической культуры народа, определяемой инстинктом и идеалом «своей» всемогущей власти. Точно так же политиков революционной поры неуместно судить по взаимным оценкам и, тем более, самооценкам. Объективным критерием может выступать фактор соответствия их действий народным ожиданиям и меняющейся психологии, а также умение использовать элементы традиционной политической культуры для решения конструктивных задач, стоящих перед страной. В отличие от политических интерпретаций, психосоциальный анализ событий 1917 г. открывает совершенно новые возможности и перспективы...» (16).

Исходя из всего вышеизложенного, можно констатировать, что «Конституционно-демократическая партия», помпезно именующая себя «Партией Народной Свободы», не имела шансов в борьбе за массы, так как не имела ничего общего ни с самим народом, ни с его пониманием «свободы». Кадеты демонстративно не желали считаться с коллективной психологией. Да и не умели самозванные «борцы за народную свободу» разговаривать с народом на понятном ему языке. Выступления кадетских деятелей и предлагаемые ими проекты решения тех или иных вопросов были неприемлемы для масс ни по содержанию, ни по форме. Даже

внешний вид представителей кадетской партии восстанавливал массы против нее, ибо «у нашего населения самые смутные понятия о буржуе»: кто чуть лучше одет — тот и буржуй и доверять ему нельзя» (17). Ответом народа ораторам-кадетам на их невнятные выступления (как будто для полноты абсурда, часто еще и начинавшиеся с одиозного: «Господа!» — что незамедлительно и предсказуемо провоцировало агрессию толпы) становится: «Мы крестьяне, а вы — буржуй» (18). В атмосфере «митинговой демократии» кадетские интеллигенты практически не имели шансов на понимание толпы. «Ты не вилай как собака хвостом, говори прямо! Есть у вас трудящиеся крестьяне, рабочие — в вашем списке. Нет у них, братцы, трудовых людей — все у них купцы, помещики али их сынки или прихвостни их — кричат солдаты-большевики с разных сторон», — передает в своих воспоминаниях картину обычного солдатского митинга бывший солдат. На попытки ораторов заговорить о конституционном пути решения наболевших проблем, о том, что «без закона нельзя», тотчас раздавалось: «Морду тебе разбить за такие речи!.. Морду ему набить надо! Дай ему в зад и чтобы летел с трибуны головой вниз!» (19). Элементарное непонимание массами смысла кадетских речей, усугубляемое «антибуржуйской» пропагандой остальных партий, способствовало тому, что бессознательно-доверчивое отношение народа сменилось жадой расправы, достигшей апогея к осени 1917 г., когда экстремистски настроенные толпы преследовали кадетов везде, где встречали. Бюллетени и записки с их кандидатами «торжествующе рвали в клочья», самим активистам ПНС обещали «выпустить кишки», а, бывало, что и били прямо на избирательных участках избирательными же урнами (20).

Не удивительно, что именно кадеты — эти «слепые поводыри» русской революции — были назначены всеми остальными партиями на роль «козла отпущения». Оторванные от масс, противоречащие этническому бессознательному русского народа, его архетипам, лишённые политической интуиции, безвольные, духовно и властно дряблые, российские либералы не только не смогли занять в массовом сознании место свергнутого Царя-Батюшки, но и выставились в глазах народа самозванцами, шарлатанами, и, наконец, повинными в смуте оборотнями. По признанию А.В. Тырковой-Вильямс, условия были «совершенно неподходящие для кадетской психологии... Самодержавие свалилось, оставив после себя пустоту... Заполнить опустошение оказалось не под силу кадетам...» (21).

Поучительной оказалась в психологической истории русской революции и судьба социал-демократов-меньшевиков. Они принципиально отказались от ставки на стихию, от использования мощи народной психологии в целях захвата власти. Эта партия не искала опоры в массовом сознании многомиллионного русского крестьянства, ибо, как выразился член ее ЦК Н.А. Рожков, «социал-демократия исходит из одного — из соображений интересов пролетариата», а если «крестьянство еще этого не понимает, мы не побоимся разойтись тут с ним» (22). Более того, партия меньшевиков продолжала громогласно объявлять русское крестьянство — это более трех четвертей населения России! — «аморальным классом» (23). Стоит ли недоумевать, отчего эта партия в народном сознании сблизилась с «образом врага» и лишь немногим позже разделила историческую участь

либералов и их место «у позорного столба истории»? Как удовлетворенно констатировали кадетские издания, «жизнь поставила социал-демократов меньшевиков и кадетов вплотную к друг другу — это две соседние партии по однородности некоторых пунктов программы, а главное — идеологии» (24).

Уже в июне 1917 г. Ю.О. Мартов признал: «В качестве правительственной партии... социал-демократия, в лице меньшевистской фракции, осудила себя на постоянное торможение пробуждающейся в крестьянско-солдатской массе политической самостоятельности, на удержание Советов от попыток активно влиять на ход правительственной политики — меньшевики и эсеры неизбежно способствовали тому, что нарастающее... недовольство пролетарской и даже части крестьянско-солдатских масс бросило их в объятия ленинизма» (25). Сам Мартов так объяснял свое неприятие большевизма: «Дело не только в глубокой уверенности, что пытаться насаждать социализм в экономически и культурно отсталой стране — бессмысленная утопия, но и в органической неспособности моей примириться с аракчеевским пониманием социализма и пугачевским пониманием классовой борьбы, которые порождаются... фактом, что европейский идеал пытаются насадить на азиатской почве» (26). Что же предлагал разбушевавшейся русской стихии сам меньшевизм? Подождать, пока «почва» из «азиатской» превратится в «европейскую»? Переехать в Европу?.. Не будет большим преувеличением сказать, что тактика, которую избрали в 1917 г. российские социал-демократы, стала их политическим суицидом. Как сознался позже Н.Н. Жордания: «Этот демократический кретинизм болтливой, бездельной интеллигенции неприемлем и непонятен для народа, который всегда живет и мыслит реально и согласно фактам. Вот, вследствие этого Петербургский Совет рабочих оказался в руках большевиков. Повсюду массы стали на их сторону» (27).

Не менее самоубийственным характером отличилась и политическая психология партии эсеров. Даже меньшевики, будучи их союзниками по коалиции, подчеркивали: «У социалистов-революционеров два лица, две позиции, две тактики: одна — непреклонная, крикливая — для масс, налево, другая — уклончивая, оппортунистическая, соивчивая — для буржуазии, направо... Для широких масс упрощенные лозунги, которые никогда осуществлены не будут, для превращения же этих лозунгов в жизнь совсем иная тактика, неустойчивая и расхлябанная» (28). А по злорадной оценке кадетов, «разбудить инстинкты толпы было не трудно, повернуть же ее назад, хотя бы это диктовалось насущнейшими требованиями партийной, не говоря уже о государственной, политики, оказалось нашим народникам не по плечу» (29). Перейдя от погромной агитации «Земли и Воли» к попыткам решать вопросы государственного значения правовым путем, эсеры утратили контроль над народной стихией, ранее развязанной во многом именно их действиями. Противоречивые усилия примирить вышедшую из берегов стихию масс с необходимостью поэтапной конституционной реформы, которые, по ехидному выражению Ленина, напоминали попытки «усесться между двух стульев» (30), оказались безуспешны — массы объективно взяли на вооружение большевистские рецепты *немедленного* решения наболевших проблем. Поняв, что проиграла массы ленин-

цам, неонародники, по их собственному запоздалому признанию, наивно пытались подорвать авторитет большевизма «обещаниями почти того же, что и он обещал, но только — чуть поменьше» (31).

Еще в «Смене веж» была дана яркая психологическая характеристика эсеровской партии, с которой трудно не согласиться: «Но давно пора бы им заметить, что именно их лозунги и их тактика менее всего пригодны для революции. С их помощью нельзя ни автоматически управлять массами, ни увлекать их, ни подчинять. При их господстве не может быть ни революции, ни контрреволюции, ни тем более искомого ими среднего. Сплошное ни то ни се. Какие-то буридановы ослы в роли вершителей исторических судеб. За миг блаженства быть у власти всем им неуклонно приходилось потом расплачиваться длинными периодами скрежета зубов на тех, кто так низко растоптал их святые желания и так глупо не дал им сделать их великого дела. По их глубочайшему убеждению, за ними была и есть вся Россия. Только они — подлинные выразители воли народной. Но стоило им появиться где-нибудь, как тотчас же их сметала либо «кучка гнусных насильников» в лице большевиков, либо «кучка гнусных реакционеров» в лице казаков, офицеров, генералов, помещиков и купцов. И все-таки они ни на минуту не сомневаются, что правильно действуют только они. Чем же, в самом деле, объяснить эту поразительную настойчивость, эту завидную в клиническом отношении самодостаточность, как не особым душевным интеллигентским складом?.. Тут есть все в редком изобилии: и утрированная «принципиальность», от которой не тошно только самим ее обладателям, и самовлюбленность, не допускающая даже намека на самокритику, и самоусовершенствование, и максимализм по формуле «или мы, или никто», и отсутствие малейшей политической дисциплины... приводя указанные черты специфической эсеровской психологии (как психологии интеллигентской), я отнюдь не делаю этого в целях суда или осуждения их обладателей: создал их Бог русской истории такими, и ничего уж, видно, не поделаешь. Но всякому должно быть ясно, что, пока подобный тип русского интеллигента не изжит или не побежден окончательно, не могут быть изжиты ни русская революция, ни русская контрреволюция. Непрактичные, недисциплинированные, хаотичные по натуре и по историческому воспитанию — такие, «каковы они есть», они призваны лишь поддерживать русский хаос и русское государственное разложение... По идее наиболее близкие из всех русских интеллигентов к русским народным массам — это они с особенным упоением играли роль всезнающих и непререкаемых наставников масс, что оттолкнуло от интеллигенции массы» (32).

На фоне повсеместного озлобления масс и разочарования их в легитимных процедурах противоречивость политики эсеров, усугубленная отсутствием единства внутри партии, привела к тому, что большевики, которые, напротив, последовательно и активно поощряли рост массового насилия на аграрной (и не только) почве, сумели превратить крестьянство из источника сил эсеров в своего временного, но решающего «союзника», почерпнув, по признанию Ленина, «свой главный резерв из лагеря вчерашних союзников своего врага» (33).

Непредвзятое исследование психологии масс и партий в политической истории Февраля—Октября приводит к выводу, что большевики оказались единст-

венной — *безальтернативной* — политической силой в 1917 г., способной обратиться психологию масс в инструмент для достижения партийных целей. До конца оставаясь «партией радикальной оппозиции», не «скомпрометировавшей» себя участием в немогущей демократической коалиции, ленинцы безнаказанно обещали каждой недовольной группе населения то, чего она более всего желала, при этом указывая не только «*что делать*», но и «*кто виноват*». Используя массовую веру в социальную инверсию, они без боя овладели социально-психологической монополией на *Чудо*. Они не брезговали никакими способами межпартийной борьбы (в качестве типичных методов большевиков их политические оппоненты перечисляют регулярные «акты грубого насилия по отношению к другим партиям», систематические «срывания митингов с целью зажимания рта противникам», организованные «клаки» (шум по команде), «клевету», «инсинуации» и «намеренные замалчивания» невыгодной для себя информации, «угодничество перед толпой», «спекуляции на темноте масс и их инстинктах», «призывы к погромам», «авантюристические выступления», «беззастенчивую неразборчивость в средствах» и т.д. и т.п. (34)). Но все же, по оценке Р. Пайпса, которого сложно упрекнуть в симпатии к партии Ленина, «невозможно было бороться с большевиками только на том основании, что в стремлении к общей цели они пользовались более откровенными средствами: во многих отношениях Ленин и его соратники являлись истинной «совестью революции». Интеллектуальная безответственность и нравственная трусость социалистического большинства создавали психологическую и идеологическую ситуацию, в которой большевистское меньшинство с успехом росло и множилась» (35).

Оппоненты большевизма, сознавая психологические корни популярности ленинцев в массах, решительно ничего не могли противопоставить простым, но эффективным большевистским приемам. В результате большевики стали больше, чем просто партией — для значительной части населения они превратились в единственную надежду. В конкретно-исторической ситуации войны и революции, когда «русская стихия» — психология русской массы — сделалась еще более темной, хлесткой и озлобленной» (36), большевизм оказался психологически адекватен народным массам, изоморфен русской смуте. Троцкий так сформулировал психологические основы русского марксизма в революции: «Марксизм считает себя сознательным выражением бессознательного процесса... Высшее теоретическое сознание эпохи сливается... с непосредственным действием наиболее... удаленных от теории... масс. Творческое соединение сознательного с бессознательным есть то, что называют обычно вдохновением. Революция есть неистовое вдохновение истории» (37). Близкую мысль высказывает С.Г. Кара-Мурза: «...большевики были именно партией нового типа. Это была... единственная партия, которая *чувствовала революцию*. И потому, будучи марксистской, она не подчинялась догмам марксизма, а смогла стать частью живого народного организма» (38).

То, что большевизм — явление исконно русское, объединяющее различные проявления русского духа, признали многие его враги. Так, о преемственности большевизма от интеллигентской традиции А.С. Изгоев писал: «Все главные по-

литические, социально-экономические и психологические идеи, в которых столетие воспитывалась русская интеллигенция, оказались ложными и губительными для народа. В роли критиков выступили не те или иные литераторы, а сама жизнь. Нет высшего авторитета. На критику жизни нет апелляции. Большевики и их господство и воплотили в себе всю эту критику жизни. Напрасно интеллигенция пытается спасти себя отводом, будто она не отвечает за большевиков. Нет, она отвечает за все их действия и мысли. Большевики лишь последовательно осуществили все то, что говорили и к чему толкали другие. Они лишь поставили точки над *i*, раскрыли скобки, вывели все следствия из посылок, более или менее красноречиво установленных другими. Добросовестность велит признать, что под каждым своим декретом большевики могут привести выдержки из писаний не только Маркса и Ленина, но и всех русских социалистов и сочувственников как марксистского, так и народнического толка» (39). А по поводу родства большевизма и крестьянства П.Я. Рысс высказался так: «Психология большевизма была психологией типично русской... переваренный в кипятке русской психологии, большевизм, как нельзя более, соответствовал времени и духу народа... Кто были они — большевики?.. Нет, это не злоумышленники, не удачливые преступники, совершившие великое зло, — это русские по психологии своей люди, дошедшие до конца в отрицании им чуждого... Это — психология русского крестьянства, и потому большевики не были продуктом чужеземным; нет, это было русское, насквозь — русское явление!» (40).

Внимательные современники рассматриваемых событий высказывали мнение, что «в процессе революции произошло... разделение русских интеллигентов на большевиков, угадавших веления революции и потому «торжествующих» вместе с нею, и на не угадавших их и потому страдающих, ноющих, клеветующих, запутавшихся в лжи и противоречиях» (41). По признанию П.Н. Милюкова, «на назревающие в стране события нельзя смотреть как на какой-то объективный, физиологический процесс; огромная роль принадлежит психологии, которая может приблизить или отдалить момент хирургического вмешательства. Выбор момента не от конституционных демократов зависит; если бы столь многое могло от них зависеть, конституционные демократы вышли бы из создавшегося положения не путем хирургии. Но ход вещей зависит от чего-то другого, во всяком случае, не от правительства в его нынешнем составе... Будут ли поводом голодные бунты или выступления большевиков, но жизнь толкнет общество и население к мысли о неизбежности хирургической операции. Процесс этот совершится без нас, но мы по отношению к нему не в нейтральном положении: мы признаем его и сочувствуем ему в известной мере» (42). Таким образом, даже кадеты вынуждены были признать полную и безоговорочную психологическую победу большевиков как доминантный фактор политической истории русской революции с весны до осени 1917 г., подытожив: «...психология — анархическая психология большевизма — была до сих пор наиболее ярким и наиболее действенным фактором этой истории» (43).

Последнее замечание явно нуждается в комментарии. Психология большевизма не была «анархической», она объединила в себе полярные, антиномичные

начала народной психологии — стремление к безвластию и преклонение перед властью, пресловутые «бунт» и «смирение». Уже некоторым из участников тех событий быстро стало ясно, что «...бунт не антагонист власти, а судорожный порыв от власти, переставшей пугать, к власти, которая внушит дрожь страха заново» (44). В проекте выступления представителя Союза врачей на Государственном совещании в августе 1917 г. был дан любопытный психиатрический диагноз-прогноз взаимодействию партий и масс России: «После мозгового переутомления сознательных русских людей за время долгой войны дворцовая революция, связь между партийными доктринами и стремлениями народных масс создали острый психоз... Для немногих общественных медиков, сумевших сохранить самостоятельность и независимость мысли, отличающихся государственным умом, остается ясным, что выхода из патологического состояния нельзя искать у многочисленных масс, классов и партий, находящихся в состоянии психоза, что нужно, наблюдая и находясь вне их болезненного состояния, найти выход, исходя из реального взгляда на общественную структуру, ее законы... Не поддаваясь общему психозу... можно кратко определить его сущность, заключающуюся в том, что к государственному строительству или реформам государственного строя массы, классы и партии стремятся приступить, основываясь только на волевом начале, полагая, что воля большинства определяет общественную структуру, в то время как воля каждого человека является незначительным, подчиненным человеческой природе элементом. Эта воля большинства в своем патологическом состоянии и нуждается в воздействии на нее с целью ее отречения от насилия над естественными законами общественной природы. Воздействие на это болезненное проявление воли путем глубокого влияния на сознание может быть тройким. Либо упорство ослабевает от страданий после коренного разорения страны и большинство в конце концов подчиняется законам общественной структуры, руководствуясь наблюдением, переиспытанием на себе их влияния, их непобедимости. Такое воздействие связано с многолетним периодом постепенного прояснения сознания у масс под влиянием тяжелых испытаний. Либо упорство больной воли может быть сломлено внешней причиной, каковой в настоящем случае является бессознательное подчинение воли русского народа силой германской культуры. Либо, наконец, путем локализации бессознательной воли большинства меньшинством, для которого требуется более краткий период для осознания непреодолимости законов общественной структуры» (45). В известном смысле, большевикам удался третий вариант. Колебания психологии масс от упоения революционной анархией до признания необходимости настоящей — твердой, авторитарно-патерналистской — власти, в психологическом плане сохранявшей преемственность от традиционного российского самодержавия, по железной логике истории закончились установлением диктатуры, способной применить долгожданную государственную силу и собственной беспощадностью обуздать мнимо «бессмысленную» беспощадность русского бунта.

ПРИМЕЧАНИЯ

- (1) Цит. по: *Рабинович А.* Большевики приходят к власти: Революция 1917 года в Петрограде. — М., 1989. — С. 300.
- (2) *Соколов К.Н.* Трагедия предпарламента // *Нива*. — Пг., 1917. — № 46. — С. 722.

- (3) Цит. по: *Маклаков В.А.* Власть и общественность на закате старой России: кадеты и октябристы. — М., 1996. — С. 253.
- (4) *Изгоев А.* Социалисты и крестьяне. — Пг., 1917. — С. 5.
- (5) Волжский день. — Самара, 1917. — 26 июля.
- (6) ЦГАИПД СПб. — Ф. 4000. — Оп. 18. — Д. 116. — Л. 5.
- (7) *Керенский А.Ф.* Русская революция. 1917. — М., 2005. — С. 37.
- (8) *Булдаков В.П.* Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. — М., 1997. — С. 203, 223.
- (9) *Протасов Л.Г.* Всероссийское Учредительное Собрание: История рождения и гибели. — М., 1997. — С. 33.
- (10) Цит. по: *Пайнс Р.* Русская революция. — Ч. 1. — М., 1994. — С. 169.
- (11) Саратовский Вестник. — Саратов, 1917. — 18 июля.
- (12) Цит. по: Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г. — М.—Л., 1927. — С. 140.
- (13) Волжский день. — 1917. — 26 июля.
- (14) *Покровский И.А.* Перуново заклатье // Пути Евразии. Русская интеллигенция и судьбы России. — М., 1992. — С. 265.
- (15) *Гозман Л.Я., Шестопал Е.Б.* Политическая психология. — Ростов, 1996. — С. 3—4.
- (16) *Волобуев П.В., Булдаков В.П.* Октябрьская революция: новые подходы к изучению // Вопросы истории. — 1996. — № 5. — С. 29—30.
- (17) Волжский день. — 1917. — 11 мая.
- (18) ГАРФ. — Ф. 579. — Оп. 1. — Д. 854. — Л. 18.
- (19) ГАСО. — ФП. — 651. — Оп. 5. — Д. 48. — Л. 44. — Об. 49.
- (20) См.: Речь. — Пг., 1917. — 28 сентября; ГАРФ. — Ф. 1791. — Оп. 6. — Д. 165. — Л. 74; Д. 167. — Л. 45; Ф. 1796. — Оп. 6. — Д. 164. — Л. 75—76.
- (21) Цит. по: *Думова Н.Г.* Кончилось ваше время. — М., 1990. — С. 39.
- (22) Рабочая Газета. — Пг., 1917. — 25 августа.
- (23) См. речь А.Н. Потресова на Всероссийском объединенном съезде РСДРП. — РГА СПИ. — Ф. 275. — Оп. 1. — Д. 12. — Л. 18.
- (24) Волжский день. — 1917. — 24 мая.
- (25) Летучий Листок Меншевиков-Интернационалистов. — Пг., 1917. — № 2. — С. 5.
- (26) Меншевики. Сборник статей, воспоминаний и документов. — Бенсон, 1988. — С. 155.
- (27) *Жордания Н.* Моя жизнь. — Стэнфорд, 1968. — С. 77.
- (28) Пролетарий Поволжья. — Саратов, 1917. — 26 октября.
- (29) Волжский день. — 1917. — 6 сентября.
- (30) *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. — Т. 38. — С. 137.
- (31) РГА СПИ. — Ф. 274. — Оп. 1. — Д. 39. — Л. 120.
- (32) *Ключников Ю.В.* Смена вех // В поисках пути: Русская интеллигенция и судьбы России. — М., 1992. — С. 228—230.
- (33) *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. — Т. 12. — С. 34.
- (34) См., напр.: Москвич-избиратель. — М., 1917. — № 11.
- (35) *Пайнс Р.* Русская революция. — Ч. 2. — С. 80—81.
- (36) *Горький М.* Несвоевременные мысли: заметки о революции и культуре. — М., 1990. — С. 185.
- (37) *Троцкий Л.Д.* Моя жизнь. Опыт автобиографии. — Берлин, 1930. — Т. 2. — С. 56.
- (38) *Кара-Мурза С.Г.* Советская цивилизация. От начала до Великой Победы. — М., 2005. — С. 171.
- (39) *Изгоев А.С.* Социализм, культура и большевизм // Пути Евразии. — 1992. — С. 178.
- (40) *Рысс П.Я.* Русский опыт. Историко-психологический очерк русской революции. — Париж, 1921. — С. 113—116.

- (41) *Ключников Ю.В.* Смена вех... — С. 233.
(42) ГАРФ. — Ф. 523. — Оп. 2. — Д. 20. — Л. 3.
(43) *Набоков В.* Шесть месяцев революции // Вестник Партии Народной Свободы. — Пг., 1917. — № 19.
(44) *Португейс С.О.* У гроба Великого Диктатора // Заря. — Берлин, 1924. — № 1. — С. 9.
(45) ГАРФ. — Ф. 881. — Оп. 2. — Д. 55. — Л. 1.

PSYCHOLOGY OF MASSES AND PARTIES IN RUSSIAN REVOLUTION: FROM FEBRUARY TO OCTOBER 1917

P.P. Marchenya

Department of Philosophy
Moscow University of the Ministry of Interior of Russia
Academica Volgina Str., 12, Moscow, Russia, 117437

The problem of interaction and mutual psychological influence of political parties and masses takes center stage. Psychology of masses and parties is regarded as a main factor in history of Russia in 1917, which is crucially important for understanding the logic of Russian Revolution. Mass consciousness is regarded as a dominant in political history and as social and cultural foundation of Bolsheviks' victory in the contest of political parties from February to October 1917.

Key words: Russian Revolution, Strife, psychology, political parties, masses, mass consciousness, February 1917, October 1917.